

Р. А. БУДАГОВ

**ПОНЯТИЕ О НОРМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ВО ФРАНЦИИ
В XVI—XVII вв.**

1

XVI век — эпоха весьма знаменательная в истории французского языка, как, впрочем, и в истории всей французской культуры. Именно в это время начинается знаменитая «защита» (*défense*) французского языка и его «прославление» (*illustration*). В это же столетие появляются первые грамматики французского языка. Возникает научная традиция изучения родного языка. Французский язык вступает в борьбу с латынью, постепенно оттесняя ее из сферы науки и официальных документов. Ордонанс Виллер-Котре 1539 г. признает французский язык единственным государственным языком всей страны. Теоретики языка, «прославляя» родную речь, стремятся сделать так, чтобы язык стал как можно более богатым, чтобы с его помощью легко было выразить все многообразие мыслей и чувств людей новой эпохи. Вместе с тем возникает вопрос о норме языка и границах этой нормы во времена Возрождения.

Положение существенно меняется с начала XVII в. Вместо характерного для XVI в. широкого понимания нормы литературного языка в XVII в. постепенно вырабатывается совершенно иное истолкование языковой нормы. Теоретики языка XVII в. вступают в резкую полемику с теоретиками минувшего столетия и стремятся обосновать принципы «хорошего обычая» (*bon usage*) в языке. Эта новая языковая концепция, еще не вполне категорически сформулированная Малербом, затем получит развитие и поддержку у виднейшего грамматиста эпохи — Вожла и у только что созданной тогда французской Академии (1635 г.). Так возникает «академическая концепция» нормы литературного языка, оказавшая огромное влияние на все дальнейшее развитие этого понятия во Франции. В данном небольшом сообщении мы и хотим показать, как сформировались эти два противоположных понимания языковой нормы — «широкое» и «узкое» — в столь важную для Франции эпоху становления ее литературного языка.

Вопросы языка оказались в центре внимания очень многих представителей французской культуры и государства уже с первых десятилетий XVI в. Различные обстоятельства способствовали выдвижению языковых проблем. Ими стали интересоваться писатели, ученые, общественные деятели, королевские министры. Стремление сделать французский язык общегосударственным языком Франции и как-то ограничить не только сферу распространения другого языка (латыни), но и местных диалектов не могло не привлекать внимания к вопросам языка; все это стимулировало развитие языковой теории и выводило языковые дебаты той эпохи за пределы узких рамок профессиональной доктрины. Вопрос о том, как следует говорить и писать на родном языке, стал интересовать всех образованных людей. Это всеобщее внимание к вопросам языка оказалось настолько значительным, что даже через сто лет, в тридцатых годах XVII в.,

когда стала организовываться французская Академия, перед ней были поставлены вначале только лингвистические задачи: создать словарь французского языка и составить его грамматику¹. Лишь впоследствии цели и обязанности французской Академии стали постепенно расширяться.

Таким образом, в эпоху, когда складывались условия для формирования французской нации, вопросы языка приобрели особо актуальное значение. И недаром даже в тех случаях, в которых обсуждались темы литературы и эстетики, проблема языка вставала во весь рост. Поэтому литературный манифест поэтов Пляды, написанный Дюбелле (1549), так и назывался — «Защита и прославление французского языка»², а сам Дюбелле, вставший на защиту родного языка, сравнивал себя с воином, который защищает отечество³.

Для того чтобы успешно «защитить» французский язык, доказать его способность быть средством общения людей во всех сферах их деятельности, во всех случаях жизни, необходимо сделать этот язык богатым. Так считали французские гуманисты XVI в. Чтобы показать практическую силу тезиса «сами люди должны обогащать свой язык!», гуманисты стали широко вводить в язык новые слова, черпая их из самых разнообразных источников (из старого языка, из различных диалектов, из других языков, наконец, создавая новые слова по образцу уже существующих). «Чем больше будет слов в нашем языке, тем он будет лучше» — писал Ронсар⁴, и этот тезис разделяли почти все его современники. Новые слова нужно брать из всех источников, в том числе и из диалектов, приобщая их к литературному языку и обогащая тем самым этот последний. Крылатая фраза Монтеня «да поможет гасконский, если французский не справляется» («que le gascon y arrive, si le françois n'y peut aller») — хорошо передает общее устремление эпохи. Вслед за Дюбелле Ронсар в предисловии к своей «Франсиаде» обосновывал право писателя широко черпать слова из старого языка, как бы обновляя их и приспособлявая к новым нуждам общения⁵.

Особо обсуждался в XVI в. вопрос о неологизмах. Быстрое развитие науки и культуры требовало введения в язык новых слов. Для передовых мыслителей этого времени вопрос о неологизмах органично переплетался с вопросом о потребностях в новых знаниях. Нужно опираться не на авторитет античности, а на реальные факты — так ставили вопрос ученые и писатели той эпохи. В предисловии к своим «Les Institutions astronomiques» (1557 г.) астроном Мэм писал, что если некоторым читателям изложение его книги покажется трудным (*rude*), то автор просит учесть, что «новые поиски науки требуют новых терминов»⁷. С аналогичными заявлениями выступали и другие ученые. В язык широким потоком вливались новые слова и термины, такие, как, например, *agriculteur*, *classique*, *concours*, *concret*, *effectif*, *explication*, *fréquentatif*, *pacifique*, *potentiel*, *semestre*, *social*, *véhicule* и сотни других.

¹ См. «Histoire de l'Académie française» par Pellisson et d'Olivet, éd. Ch. Livet, Paris, 1858.

² J. Du Bellay, Défense et illustration de la langue françoise, éd. H. Chamard, Paris, 1904.

³ Там же, стр. 34—35.

⁴ P. Ronsard, Oeuvres, éd. Marty-Laveaux, vol. VI, стр. 460; ср. E. Huet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, t. I, Paris, 1925, Préface, стр. VI—IX.

⁵ M. de Montaigne, Essais, I, Paris, 6. г., стр. 25; ср. E. Pasquier, Lettres, t. I, Amsterdam, 1723, Livre XVIII, chap. I.

Об этой фразе Монтеня см. в комментариях (приложениях) к русскому переводу его «Опытов» (кн. 1, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 440).

⁶ P. Ronsard, указ. соч., vol. VI, стр. 462.

⁷ См. F. Brunot, Histoire de la langue française, t. II, Paris, 1906, стр. 60.

Призывы ученых «обогащайте родной язык!» не оставались без последствий. Уже раньше, в первой половине XVI в., Рабле языком своего романа о Гаргантюа и Пантагрюэле стремился показать, что значит обогащение языка на практике. Исследователи языка Рабле собрали огромный словарь специальных слов, встречающихся в романе (юридических, философских, медицинских, военных и пр.). Описывая тот или иной предмет, Рабле подходит к нему как бы с разных сторон. Он находит 153 названия для игр молодого Гаргантюа, 138 наименований блюд, подаваемых Мандюсу, упоминает 98 пород различных ядовитых змей и т. д. Исключительно обширен и технический лексикон писателя. Он интересуется всем и для каждого факта и явления находит выразительное слово и его многочисленные синонимы. Поэтому один из исследователей языка Рабле был в известной мере прав, когда изучение словаря последнего как бы отождествил с изучением культуры Возрождения во Франции¹.

Стремление обогатить родной язык не оставалось только пожеланием, оно действительно претворялось в жизнь, оказывалось реальным. При этом писатели как бы подготавливали почву для теоретиков языка, а эти последние в свою очередь вдохновляли последующих авторов. Во многих же случаях сами теоретики языка были одновременно крупными прозаиками и поэтами, что в первую очередь относится к Ронсару, Монтеню, Дюбелле и многим другим. Таким образом, очень популярный в XVI в. девиз «защита и прославление французского языка» на практике превращался в защиту права всех говорящих на данном языке, и прежде всего писателей и ученых, обогащать родной язык отдельными словами, превращать язык в о в р е м е н н о е средство общения людей, приспосабливать его к новым потребностям выражения мысли, к пущам развивающейся науки, к запросам новой культуры. Так осуществлялась прежде всего вторая часть девиза — «прославление» родного языка. Первая же часть — «защита» означала нечто другое.

Дело в том, что мощным противником французского языка продолжал оставаться язык латинский. В XVI в. во Франции стал очень остро ощущаться своеобразный я з ы к о в о й д у а л и з м: латынь господствовала как бы в «высших сферах» языкового общения (в юридических актах, в дипломатической переписке, в научных трактатах), тогда как язык «вульгарный» был по преимуществу средством общения в обыденной жизни². Учитывая это положение, передовые писатели и ученые стремились показать и доказать способность французского языка быть средством общения не только в его «низших сферах», но и в «сферах высших». Для этого же надо было «защитить» французский язык от мощного противника (латыни) и вместе с тем «прославить» родной язык, обнаружить его способность к постоянному совершенствованию. Так обосновывается тезис «защиты и прославления» родного языка. Так обосновывался и другой тезис, тесно связанный с первым: необходимо работать над языком, постоянно его совершенствовать. Поэтому в своем трактате о языке Дюбелле не случайно вспоминает латинских писателей, которые немало потрудились над тем, чтобы сделать свой язык прекрасным, и призывает французских писателей следовать их примеру³. «Защита» языка естественно перерастала в его «прославление».

Как уже было здесь подчеркнуто, «защита» французского языка про-

¹ См. L. S a i n é a n, *La langue de Rabelais ou la civilisation de la Renaissance*, vol. 1—2, Paris, 1922—1923.

² См.: Л. О л ь ш к и, *История научной литературы на новых языках*, т. II, перевод с нем., М.—Л., 1934, стр. 43 и сл.; З. В. Г у к о в с к а я, *Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения*, Л., 1940, стр. 6.

³ См. J. D u B e l l a u, указ. соч., chap. XII.

ходила в упорной борьбе с правами латыни и, тем самым, в борьбе с языковым дуализмом. Латынь неохотно и очень медленно стала отступать со своих позиций, прочно ею завоеванных всем ходом предыдущего языкового развития и своеобразным положением науки в средние века. Любопытно, что в сравнительно более демократические области звания французский, или, как его тогда называли, вульгарный, язык стал проникать раньше, чем в науки более привилегированные, более «аристократические». Так, в химии, выросшей из алхимии, раньше обращаются к языку французскому, чем, например, в физике¹. К сожалению, вопрос этот, весьма важный для понимания путей и направлений преодоления языкового дуализма во Франции, все еще почти совершенно не изучен.

В весьма своеобразном положении оказался язык художественной литературы. Художественная литература, примыкая к «низшим сферам» общения, обычно обращалась к родной речи, тогда как наука, прибегая в этом плане к «вышим сферам» коммуникации, прибегала к латыни. Разумеется, в средние века существовала во Франции художественная литература и на латинском языке, однако она не могла серьезно конкурировать с богатой и очень разнообразной литературой на родном языке. Интересно в этом плане языковое расслоение уже в памятниках более ранней эпохи. Как отмечает Брюно², в своеобразном переложении «Ветхого Завета» (Vieil Testament), написанном на французском языке в XV в., представители деклассированных социальных групп говорят на французском арго, тогда как из уст бога то и дело слышатся латинизмы. Таким образом, язык науки и язык художественной литературы оказались языками разными. Поэтому, когда под напором речи «вульгарной» (французской) латинский язык стал постепенно отступать из сферы науки и юридических актов, то этим самым создавались условия для преодоления языкового дуализма во всей стране.

Совсем не случайно, что многие научные сочинения эпохи Возрождения, в которых стали обращаться к родному языку, первоначально имели своеобразную художественную форму. Это всевозможные «диалоги», «опыты», «повествования», в которых выступают действующие лица, обычно ведущие спор на ту или иную научную тему. Таковы были, например, «Dialogues du nouveau langage françois italianizé» (1578) Анри Этьена, в которых действующие лица дебатировали вопрос о том, насколько полезны итальянские слова в языке французском. Таковы же были и многие другие научные сочинения того времени, в том числе трактаты по физике, медицине и математике. Так как наступление «вульгарного» языка шло из «низших» сфер в «высшие», то неудивительно, что жанры этих «низших» сфер стали распространяться в сферы «высшие», в результате чего научные сочинения эпохи Возрождения как во Франции, так и во многих других странах этой же эпохи часто облекались в своеобразные формы художественной литературы — в диалоги, в споры, сценки и т. д.

Соприкосновение разных языков и жанров в разных сферах общения приводило в ряде случаев и к своего рода недоразумениям. Слишком «художественный» характер научных доказательств Галилея раздражал Кеилера, а Декарт находил, что стиль изложения Галилея излишне беллетризован³. Однако само по себе временное соприкосновение жанров художе-

¹ См. К. V o s s l e r, Frankreichs Kultur und Sprache, Heidelberg, 1929 (глава «Das Französische im Dienst der Wissenschaften»). Для Италии см. Р. О. K r i s t e l l e r, The origin and development of the language of italian prose, «Word», vol. 2, № 1, 1946.

² F. B r u n o t, Histoire de la langue française, t. I, Paris, 1905, стр. 526.

³ См. L. T r a u b e, Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters, hrsg. von P. Lehmann, München, 1911, стр. 31.

ственного повествования и научного изложения было вполне закономерным, так как наступление «вульгарного» языка на язык латинский происходило с позиций тех сфер языкового общения, в которых положение «вульгарного» языка было очень прочно и имело длительную и глубокую традицию (сфера обыденного общения и сфера языка художественной литературы).

Борьба «вульгарного» языка с латынью определила широкое понимание литературной нормы в XVI в. во Франции. В норму литературного французского языка должно было входить все, что помогало «прославлению» французского языка, что «защищало» его от давления латыни, что способствовало его обогащению. Только богатый язык может соперничать с таким мощным, имеющим прочную традицию языком, каким представлялся в то время язык латинский — средство интернационального научного общения.

Это понимали не только теоретики французского литературного языка, не только писатели и ученые, но и французские грамматисты XVI в. Почти все грамматисты этой эпохи стояли на антипуристических позициях, стремились обосновать такую грамматику и такие грамматические правила, которые бы учитывали особенности живой французской речи.

Не случайно, что виднейший грамматист этого времени Луи Мегре выступает последовательным сторонником реформы французской орфографии, настаивая на необходимости приблизить устаревшую орфографию к особенностям французского произношения¹. Мегре чужда идея условной правильности языка, он стремится к своеобразной рациональной его правильности: то, что способствует ясности выражения, является и грамматически правильным, как и обратно — все, что мешает нашей мысли, вызывает вопрос о том, насколько это целесообразно также в грамматике. Хотя Мегре пришлось сделать немало отступлений от данного общего правила — грамматика французского языка не укладывалась и в эту слишком прямолинейную схему — сама постановка вопроса о рациональной правильности литературной нормы языка была очень характерна для эпохи.

В борьбе за возможность для родного языка быть средством общения, средством выражения мысли во всех сферах деятельности человека формировалось само понятие литературной нормы языка, понятие правильного и неправильного в языке XVI в. Теоретики французского языка того времени восприняли от античных философов атомистическое понимание языка. Еще Демокрит считал, что вещь точно так же складывается из атомов, как слово — «из букв». Эти последние, сочетаясь, образуют слоги, тогда как соединение слогов приводит к созданию имен. Сцепление имен образует речь (*λογος*)².

Так же понимали языковые отношения и французские писатели и грамматисты XVI в. Для Ронсара, как и для Мегре, язык — это собрание слов³. Именно поэтому работа над языком понималась прежде всего как работа над отдельными словами, как рассуждения о нужных и ненужных словах, как обогащение языка словами. Именно поэтому важнейший девиз всей эпохи — «защита и прославление» французского языка — по существу превращался прежде всего в заботу о словарном составе языка. Интересно, что даже у французских грамматистов рассмат-

¹ Ch. L i v e t, *La grammaire française et les grammairiens du XVI-e siècle*, Paris, 1859, стр. 51.

² См. Т. Гомперц, *Греческие мыслители*, т. I, перевод с нем., СПб., 1911, стр. 288.

³ P. R o n s a r d, указ. соч., vol. III, стр. 531; ср. С. T r a b a l z a, *Storia della grammatica italiana*, Milano, 1908, стр. 106.

риваемой эпохи, и прежде всего у Мегре, А. Этьена, Рамюса и др., грамматические положения очень часто подменялись рассуждениями о тех или иных словах. В эту эпоху еще почти не знали, что такое фонетика или синтаксис. Грамматика состояла почти исключительно из того, что теперь называется морфологией, причем и последняя понималась опять-таки как грамматика отдельных слов.

Можно утверждать, что все языковые концепции XVI в. во Франции были в той или иной степени подчинены атомистическому взгляду на язык, на взаимоотношения между словами, на природу грамматики. В те времена еще не существовало такого понимания языка, которое в современной лингвистике называется «системным». Язык — это система, в которой отдельные части органически связаны между собой и в которой отдельные элементы, соединяясь между собой, образуют новые качества. К такому простому и вместе с тем глубокому пониманию языка наука приходит лишь во второй половине XIX в. Естественно, что подобного понимания языка не было и не могло быть в интересующую нас эпоху. Однако шаг вперед в этом направлении будет сделан уже в XVII в. Необходимо, впрочем, подчеркнуть, что материалистическая в своей основе атомистическая концепция языка имела на протяжении многих веков прогрессивное значение, так как эта концепция связывала «имена» языка с реальными предметами и явлениями внешнего мира.

Следовательно, понимание того, что возможно и что невозможно в языке, что хорошо в нем и что плохо (проблема литературной нормы языка), было обусловлено, с одной стороны, самими условиями развития общенародного французского языка в его борьбе с латынью, а с другой — взглядами на природу языка (атомистической концепцией). Широкое истолкование литературной нормы в XVI в. стало, таким образом, вполне закономерным.

В результате успешно претворенного в жизнь принципа «защиты и прославления» родного языка, к концу XVI в. французский литературный язык чрезвычайно обогатился прежде всего в количественном отношении: очень расширился его словарный состав. Вместе с тем грамматика французского языка оставалась все еще не упорядоченной и даже не описанной. Грамматисты XVI в. больше рассуждали о том, каким должен быть язык, чем описывали и исследовали его категории. В результате к концу XVI и началу XVII в. многим казалось, что французский литературный язык нуждается в упорядочении, в нормализации. Недаром один из современных исследователей французской культуры, Даниель Морне, характеризует язык этого периода словами «беспорядок и гений»¹.

2

Иные проблемы литературного языка возникли в XVII в. Если для XVI в. характерно, как мы видели, очень широкое понимание литературного языка, то уже с начала нового столетия положение меняется. На протяжении всего XVII в. писатели, ученые, грамматисты и лексикографы говорят о необходимости «упорядочить язык» (*régler la langue*). Этот девиз становится главной задачей Академии, он же проходит через всю книгу о языке крупнейшего грамматиста Вожла. Недаром впоследствии Вольтер в своем «Философском словаре», вспоминая о роли Академии в развитии литературного французского языка, подчеркивал, что необходимость «упорядочить язык» всеми ощущалась в XVII в.²

¹ D. Mornet, *Histoire de la clarté française*, Paris, 1929 (глава «Le XVI-e siècle, ou désordre et génie»).

² F. Voltaire, *Oeuvres complètes*, t. XVIII, Paris, éd. Hachette, 1866, стр. 110.

Чем же объясняется этот переход от «защиты» и «прославления» в с е г о французского языка во всем его многообразии к новому тезису, требовавшему «у п о р я д о ч и т ь» французский язык, установить принципы «хорошего обычая» в языке? Это изменение было вызвано тем, что задачи, которые стояли перед французским языком в XVI в., оказались в общих чертах решенными к началу нового столетия.

После длительной борьбы с латынью французский язык вышел победителем. Он был признан общегосударственным языком всей страны — языком не только бытового общения, но и языком науки, официальных документов, юридических актов. И хотя латынь кое-где еще продолжала оказывать сопротивление живому языку, вопрос в целом оказался уже решенным. Теперь отпала надобность «защищать» и «прославлять» французский язык, доказывать, что он не хуже языка латинского. Теперь надо было глубже разобраться в самом французском языке, попытаться его «упорядочить». Новые задачи, стоявшие перед обществом, определили и новые требования, возникшие по отношению к литературному французскому языку в XVII в.

Уже в начале XVII в. Малерб в своем комментарии к Депорту выступил против теоретических принципов, на основе которых строились языковые концепции поэтов Плеяды и других защитников родного языка в XVI в. Малерб соглашается лишь с теми положениями своих предшественников, в которых подчеркивалось значение родного языка для культуры народа, значение работы над языком вообще. Однако вопрос о том, как следует «работать над языком», Малерб понимал совсем иначе, чем теоретики эпохи Возрождения.

Три условия, которым должен отвечать французский литературный язык, Малерб определяет так: «чистота» (*la pureté*), «ясность» (*la clarté*) и «точность» (*la précision*)¹. «Чистота» означала, что в литературный язык нельзя вводить какие угодно слова, как думали в XVI в. По мысли Малерба, богатство языка определяется не простым количеством слов, а тем, насколько эти слова оправданы и необходимы. Введенные без достаточной дифференциации и строгости, слова могут противоречить другому необходимому условию всякого литературного языка — его «ясности». Наконец, третье условие («точность») означало, что на родном языке надо писать так, чтобы все понимали. «Мало, чтобы нас понимали, — утверждал Малерб, — надо, чтобы не могли нас не понимать»².

Основываясь на этих принципах, Малерб последовательно выступал против диалектизмов и архаизмов, против излишних заимствований и неоправданных иностранных слов. Вместе с тем он подчеркивает важность установления точных синонимических оттенков между словами. Ему представляется существенной проблема соотношения буквальных и фигуральных значений в слове. Малербу хотелось так «упорядочить язык», чтобы в нем не было ничего лишнего, но чтобы существующее в языке было строго осмыслено, «расклассифицировано», приведено в «норму».

В своем стремлении «упорядочить язык» Малерб допускал односторонние решения. Ему казалось предосудительным не только все словотворчество поэтов Плеяды, но и образование новых слов при помощи словообразовательных суффиксов (типа *doucet, pourpret, sargette*). Он осуждает субстантивное употребление прилагательных (типа *la belle*) и выступает против смелых метафорических осмыслений слов.

¹ См.: F. Brunot, *La doctrine de Malherbe d'après son commentaire sur Desportes*, Paris, 1891, стр. 177 и сл.; H. Lausberg, *Zur Stellung Malherbe's in der Geschichte der französischen Schriftsprache*, «Romanische Forschungen», Bd. 62, Heft 2/3, 1950.

² См. F. Brunot, *La doctrine...*, стр. 187 и сл.

И все же, несмотря на известную пуристичность языковой концепции Малерба, его взгляды на литературный язык вполне отвечали требованиям эпохи. Эти требования сводились прежде всего к тому, чтобы «отобрать» из языка нечто наиболее значительное и устойчивое, на основе чего можно установить норму «хорошего обычая»¹.

К этой задаче более непосредственно подошли Вожла и Академия — первый в своих «Remarques sur la langue françoise» (1647), вторая — в первом издании академического словаря французского языка, увидевшего свет в 1694 г. Вожла пользовался очень большим авторитетом среди своих современников, и его книга нашла многочисленных поклонников и подражателей. После Вожла с аналогичными замечаниями о французском языке выступили десятки знатоков языка и среди них такие, как Менаж, Буур, Шаллеи, Тома Корпель и др. В отличие от Малерба, интересовавшегося главным образом вопросами поэтического языка и лексики, Вожла выступает по разным вопросам теории родного языка. Малербу еще не удалось сформулировать понятие нормы литературного языка, Вожла же начинает с определения этой нормы. «Хороший обычай в языке,— пишет он,— это манера говорить, установившаяся среди наиболее авторитетной части придворного общества и находящаяся в соответствии с манерой письма у наиболее авторитетных писателей эпохи»². Формулировка Вожла, впоследствии вызвавшая самые разноречивые толкования³, в сущности своей была ясной. Вожла сделал следующий шаг за Малербом, еще более сузив рамки литературного языка. Если уже Малербу было очевидно, что нужно как-то очертить контуры литературного языка, то Вожла действует более решительно. «Двор» и «хорошие писатели» — вот на кого, по его убеждению, нужно равняться при установлении нормы литературного языка.

Концепция нормы языка у Вожла имела не только социальное значение, как обычно думают, но и лингвистическое. Допустим, рассуждал Вожла, вы не знаете, как сказать: *elle s'est fait peindre* или *elle s'est faite peindre*. Как тогда быть? Можно ли обратиться к кому-нибудь с вопросом? Ни в коем случае, отвечает Вожла, ибо лицо, к которому вы обратитесь с вопросом, невольно начнет «рассуждать об этой фразе». Как же все-таки выйти из затруднения? Нужно, убеждает автор, обратиться с вопросом так, чтобы лицо, к которому вы обращаетесь, не подозревало, в чем вы сомневаетесь, и тогда «в непосредственности ответа» вы сможете обнаружить обычай⁴.

Итак, непосредственность ответа — таков критерий, который предлагал Вожла для решения трудных или спорных случаев грамматики. Он противопоставляет языковой обычай, как нечто немотивированное, грамматике, как чему-то «разумному», основанному на правилах. Устная речь оказывается целиком во власти этого разумно не мотивированного обычая, тогда как письменная форма речи подчиняется иным закономерностям. Вожла признавал, что в целом ряде случаев могут возникнуть «сомнения» («doutes de l'usage»), как следует употреблять то или иное слово, ту или иную конструкцию. Если эти «сомнения» касаются

¹ О работе Малерба над языком своих стихотворений см. L. Spitzor, *Stilstudien*, II, München, 1928, стр. 18—29.

² «Bon usage c'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps» (C. F. de Vaugelas, *Remarques sur la langue françoise*, éd. J. Streicher, Paris, 1934, Préface, § 2).

³ «Commentaires sur les Remarques de Vaugelas», éd. J. Streicher, vol. 1—2, Paris, 1936.

⁴ C. F. de Vaugelas, *Remarques...*, стр. 507.

письменной речи, то Вожла рекомендует справиться у классических писателей. Иногда он даже разрешает обратиться к «хорошим современным авторам», хотя и предупреждает, что им не следует доверять на слово¹.

Но если и классические писатели, и «хорошие современные авторы» не могут рассеять сомнения у пишущего, то Вожла предлагает обращаться к аналогии². Хотя грамматист и оговаривается, что аналогия — это не что иное, как «общий и установленный обычай» («usage général et établi»), однако обращение к ней все же очень характерно для Вожла.

Представьте, что вы затрудняетесь, размышляет Вожла, как следует написать: *je vous prends tous à témoin* или *je vous prends tous à témoins*? В таких случаях, по рекомендации грамматиста, следует обратиться к другим а н а л о г и ч н ы м примерам: *je vous prends tous à partie*, а не *parties*; *je vous prends tous à garant*, а не *garants* и т. д. Поэтому и в первом случае, в котором вы сомневаетесь, как следует написать, а н а л о г и я подскажет вам: *je vous prends tous à témoin*, а не *témoins*³. Итак, языковые колебания в письменной форме речи следует устранять при помощи аналогии.

Таким образом, в зависимости от того, какого рода колебания возникают в литературном языке и к каким языковым стилям эти колебания относятся, нужно прибегать к разным средствам для их устранения. В одних случаях решение языковых вопросов нужно искать «в непосредственных ответах» образованных людей придворного общества, в других истолкование этих вопросов должно быть подсказано «классическими или хорошими современными писателями», наконец, иногда сами языковые отношения (аналогия) должны указать правильный выход из затруднительного положения. Следовательно, «языковое чутье», авторитет писателей и грамматические связи, существующие между данным языковым явлением и аналогичными ему другими языковыми явлениями, — таковы т р и к р и т е р и я, которые выдвигает Вожла для установления правильности или неправильности языкового факта и языкового обычая.

Современников Вожла очень смущал его тезис, согласно которому «одно дело — говорить грамматически правильно, другое — говорить по-французски»⁴. Между тем Вожла этим хотел сказать, что при установлении нормы «хорошего языкового обычая» нужно опираться не на один показатель, а на несколько разных. Так как между этими показателями могут быть расхождения, то грамматика (*parler grammaticalement*) не всегда согласуется с узусом разговорной речи (*parler françois*), а этот последний — с грамматикой. Вместе с тем только с о в о к у п н о с т ь данных показателей может создать надежную платформу, с позиции которой следует решать все случаи «колебаний языкового обычая» (*doutes de l'usage*). Вожла был убежден, что в письменной форме речи большее значение приобретают грамматические данные и свидетельства писателей, в устной же — показатели самого разговорного языкового обычая, непосредственные ответы говорящих.

Несмотря на известную ограниченность и некоторую пуристичность языковой концепции Вожла, нельзя не отметить ее большого исторического значения. Поддержанная французской Академией, эта концепция сыграла важную роль в установлении нормы литературного французского языка в XVII в.

¹ C. F. de Vaugelas, *Remarques...*, Préface, § 2.

² Там же, § 4.

³ Там же, стр. 563, Préface, § 3.

⁴ «*Remarques sur la langue françoise par Vaugelas*», vol. II, Versailles, éd. A. Chas-sang, 1880, стр. 452.

Было бы несправедливо придавать буквальное значение отдельным терминам и оговоркам Вожла¹. Равнение на язык «лучшей части придворного общества» в концепции Вожла имело не столько позитивное, сколько негативное значение. Как мы видели, теоретики языка XVI в. слишком раздвинули рамки литературного языка, настаивая на одинаковой целесообразности архаизмов и неологизмов, диалектизмов и заимствованных слов, общепринятого и индивидуального в языке. Вслед за Малербом Вожла стремился разобраться в этих сложных и пестрых языковых ингредиентах. Положение о языке «лучшей части придворного общества» в устах Вожла означало, что нужно больше прислушиваться к живой разговорной речи образованных людей и «фиксировать обычай» («fixer l'usage»). Вместе с тем Вожла тут же осложняет и дополняет этот шаткий критерий ссылками на манеру письма хороших писателей, на особенности грамматической аналогии. Так принцип наблюдения над языком дополнялся принципом традиции и языковой системы, уже намечавшимися в концепции Вожла.

Атомистическое понимание языка, господствовавшее в XVI в., начинает изменяться в XVII в. Теоретикам этой эпохи становится в известной мере уже очевидно, что отдельные элементы грамматики языка, как и отдельные слова, находятся в связи с другими элементами языка. Поэтому Вожла, говоря о том или ином правиле языка, то и дело оглядывается на другие правила, сопоставляя их между собой и устанавливая на основе этого сопоставления языковой обычай. Недаром в XX в. Ф. де Соссюр, критикуя метод рассмотрения языковых явлений, который основывался на анализе изолированных языковых фактов вне их целостной системы, ссылался на опыт французской грамматической науки XVII в., пытавшейся установить связь между отдельными элементами грамматики².

Разумеется, «синхронная» грамматика XVII в. еще не могла быть обогащена пониманием исторической природы языка, как это наблюдается в теории современной синхронии, которая тем самым оказывается неизмеримо выше «синхронной» грамматики XVII в. Однако сама попытка связать разрозненные языковые явления в единое целое и тем самым отойти от атомистического понимания языка, сделать шаг вперед имела большое значение для языкознания XVII в.³

На смену к о л и ч е с т в е н н о м у пониманию достоинств и недостатков литературного языка, господствовавшему в XVI в., в XVII в. выдвигается к а ч е с т в е н н ы й критерий: важно не количество существующих в языке слов, а то, насколько эти слова точно определены, насколько осмыслены грамматические правила, насколько язык в целом понятен всем говорящим.

Не только Вожла и его последователи, но и французская Академия, подготавливая первое издание своего толкового словаря, выступала против создания новых слов⁴. Но, осуждая новые слова, Академия стремилась лучше и точнее осмыслить слова, уже существующие в языке.

¹ О Вожла см. в книге: Р. А. Б у д а г о в, Развитие французской политической терминологии в XVIII веке, Л., 1940, стр. 18—28.

² См. Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, перевод с франц., М., 1933, стр. 89—90.

³ Весьма интересно, что в совершенно другую историческую эпоху повторится борьба противников атомистического понимания языка с защитниками этой концепции. Различные последователи «системного» истолкования языка в XX в. до сих пор упрекают младограмматиков за то, что последние рассматривают историю языка как сумму отдельных языковых фактов, не учитывая постоянного и глубокого взаимодействия между ними. Однако «атомисты» XIX в., будучи историками языка и владея сравнительно-историческим методом, тем самым уже далеки от «атомистов» эпохи Возрождения.

⁴ См. «Dictionnaire de l'Académie française», Paris, 1694, Préface.

Такая позиция вполне понятна. В рационалистической философии Декарта, как и в поэтике классицизма, всячески подчеркивалось значение точных слов. Декарт считал, что одна из причин «заблуждений нашего ума» заключается в том, что между явлениями действительности и словами, при помощи которых мы называем эти явления, очень часто образуются неточные соответствия, порождающие всяческие недоразумения. Поэтому в своих «Правилах для руководства ума», написанных еще по-латыни, Декарт утверждал: «...словесные вопросы встречаются столь часто, что если бы философы всегда соглашались в значении слов, то почти все их споры прекратились бы»¹. Декарт считал, что необходимо точно определять значения слов, чтобы добиться правильного понимания природы самих явлений. Аналогичные мысли развивал, как известно, и Буало в своем «L'art poétique» (1674):

Любите разум: пусть ваши сочинения
Светятся его огнем и его достоинством.

Кто не умеет себя ограничить,
Тот не умеет писать»².

Соответственно с положением Декарта о точных словах, в поэтике классицизма разрабатывалась теория общих понятий, согласно которой человеческий ум должен уметь разбираться прежде всего в общих понятиях, в систему которых входят и все частные представления. Поэтому и в языке нужно стремиться не к тому, чтобы побольше вводить в язык новых слов для обозначения всех новых явлений действительности, новых открытий науки, как думали в XVI в., а к тому, чтобы уточнить контур «общих слов» (*mots généraux*), в свете значения которых будут осмыслены и частные наименования предметов. Теоретики литературного языка XVII в., выступая против новых слов, вместе с тем ратовали за уточнение тех уже существующих «общих слов», которые соответствовали «общим понятиям» эпохи. Этим объясняется также широкий интерес к проблеме синонимов, возникший именно в данную эпоху.

В своих знаменитых «Les Caractères» (1688) Лабрюер писал: «Среди разнообразных выражений, способных передать нашу мысль, только одно является правильным, хотя его подчас и не умеют найти. Тем не менее это выражение существует, и всё, что им не является, оказывается слабым и не удовлетворяет умного человека, который хочет быть правильным понятием»³.

Теория общих понятий и соответствующих им общих слов получила косвенное отражение и в разработке вопросов грамматики. Если в XVI в. интерес к языку был по преимуществу лексикологическим — споры о языке велись главным образом вокруг словаря, что вполне понятно в эпоху атомистического истолкования природы языка, то в XVII в. углубившийся интерес к проблемам логических категорий и общих понятий не мог не найти своего отражения и в языковых теориях.

¹ Рене Декарт, Набр. произвед., Госполитиздат, 1950, стр. 139.

² «Aimez donc la raison: que toujours vos écrits
Empruntent d'elle et leur lustre et leur prix.

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire».

(Chant 1).

³ «Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne; on ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins qu'elle existe, que tout ce qui ne l'est point est faible et ne satisfait point un homme d'esprit qui veut se faire entendre» (La Bruyère, Les Caractères, Chap. «Des ouvrages de l'Esprit»).

В эту эпоху особенно много внимания уделяется грамматике, оперирующей такими специфическими общими категориями, как, например, понятиями предметности и действия, отношения и качества. Поэтому Вожла и Академия в своих «замечаниях» по поводу отдельных грамматических правил французского языка стремились, как мы видели, опереться не только на «ощущение» говорящих, но и на грамматическую «аналогию», на грамматические связи между словами.

Хотя в XVII в. не могла быть создана научная грамматика, так как еще не существовало ни сравнительно-исторического метода, ни понимания исторической природы языка, однако опыты грамматического описания французского языка, предпринятые в эту эпоху, имели большое значение. Они впервые показывали, хотя и не всегда удачно, связи и отношения между, казалось бы, изолированными фактами и явлениями языка.

Понятие нормы литературного языка в XVII в. существенно изменилось по сравнению с аналогичным понятием в предшествующем столетии, в эпоху Возрождения. Это изменение не было случайным, оно определялось изменениями в общих взглядах на язык, на его природу и его назначение в обществе. Ограничение рамок литературного языка в XVII в. по сравнению с минувшей эпохой тоже имело важные последствия — углубляется работа над лексикой языка, над его грамматическими правилами. Поэтому, если для современных французов язык XVI в. является в известной своей части еще непонятным и требует для своей расшифровки специальных знаний, то в XVII в. устанавливается такой язык, который может уже считаться «современным». Недаром само понятие «современного языка» историки французского языка связывают именно с XVII в.